

В память о себе все эпохи оставляют человеческие образы, ими сотворенные и их сотворившие.

Например, от русского героического восемнадцатого века остались нам не только великие события, а и воистину драгоценные имена. Но сколь бы ни были блистательными и даже чудесными победы Суворова или Ушакова в военных баталиях, все же Ломоносов, архангелогородский мужик в напудренном парике и в таком же пореформенном кафтане, с лицом мечтательным, с глазами широко распахнутыми, своей судьбой, масштабом своей личности, а главное — своим человеческим характером наиболее полно и живописно этому веку соответствует.

Уж вроде бы допетровская Россия в своей самобытности была столь самодостаточной, что даже необъятную Сибирь под свое крыло прибрать смогла, с боку на бок не перевернувшись. И потому, когда по указу Петра вдруг переделалась и переобулась на европейский манер, то должна была выглядеть на исторической сцене, притворившейся комическим персонажем. Но не тут-то было. Некий юный помор на полном серьезе устремляется в столицу и, не встречая обязательных сословных преград, получает за счет госказны образование даже и за границей, быстренько становится ученым-естествоиспытателем мирового уровня. И его голова должна быть, наверно, размером с современный Московский государственный университет, если учесть, что предметом его научных исследований были и молекулярно-кинетическая теория тепла, и физическая химия, и астрономия, и опто-механика с приборостроением, и география, и навигация, и геология, и теория электричества с метеорологией, и

наука о стекле, и твердая ртуть, и охрана жизни да здоровья.

А еще Ломоносов явил обязательный для абсолютного, по мировым меркам, гения прототип летательного аппарата в виде современного вертолета...

Но и этого оказалось мало для смысловой полноты и широты главного символа русского восемнадцатого века. Обнаружив, что со стороны гуманитарных дисциплин у России пустое место даже лопушком не прикрыто, химик и физик Ломоносов создает первый научный учебник русской грамматики, вносит свой весомый вклад в развитие риторики и в теорию стиля, а в области поэтического ремесла дерзает быть не только теоретиком, а и тем блистательным практиком, с которым потом будут соревноваться великий Державин и наше все Пушкин:

*Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может,
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.
Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом...*

И совсем уж невероятным может показаться то, что и в области изобразительного искусства он проявил себя как непонятно откуда взявшийся, но вполне зрелый мастер, да еще и в технике очень сложной — в мозаике! — да еще и в стилистике европейской, русскому глазу непривычной.

Только ни с чем не сравнимое, воистину фантастическое величие русского восемнадцатого века позволяет нам верить, что Ломоносов, веком

этим порожденный и век этот породивший, явление хоть и чудесное, но — вполне реальное.

И гораздо сложнее представить нам в едином человеческом образе не менее великий и, чего уж не отнимешь, самый противоречивый, и, к сожалению, самый трагический период нашей отечественной истории, включающий сороковые годы и всю вторую половину двадцатого века.

Во-первых, еще не улеглась пыль, этой бурной эпохой поднятая, еще не удалилась она на то расстояние, с которого будет видимой как на ладони. А во-вторых, в двадцатом веке наша страна в своем развитии за одну довоенную пятилетку прошла гораздо больший путь, чем Россия за весь восемнадцатый век.

Когда еще жив был поэт фронтового поколения М.Ф. Борисов, в одиночку подбивший в Прохоровском сражении около десятка фашистских танков, я, изображая либерала, спрашивал у него: «А не страшно было попасть под, скажем так, карандаш главного архитектора страны, который кого-то из вполне живых людишек мог в соответствии со своим творческим замыслом, вычеркнуть, а кого-то прочертить поярче?» Но Михаил Федорович на такие даже и шуточные мои вопросы обижался, потому как считал пору своей предвоенной юности самой счастливой, — и не потому, что тогда вода была мокрее и сахар слаще, а потому, что человека он считал существом общественным и политическим, а тогдашняя власть, как он утверждал, каждого человека наедине с самим собой не оставляла, приобщала ко всем народным свершениям, ко всем народным чаяниям.

Полагая, что разговоры с Михаилом Федоровичем и другими его ровесниками мне пригодятся, я их по вечерам иногда записывал; и вот теперь, чтобы найти эти записи в нетбуке, я вбил в поисковик некие ключевые слова, и, к своему изумлению, вышел на когда-то скопированные для чтения тексты Аристотеля «Никомахова этика» и «Политика». Да, разумеется, не от Аристотеля Михаил Федорович получил представление о природе человека. Просто, как подсказал мне гугловский поисковик,

советский человек или, как теперь его принято называть, «совок», в век Перикла чувствовал бы себя, наверно, наиболее комфортно. Вот, например, я спрашивал у Михила Федоровича уже и на полном серьезе: «Неужели на Прохоровском поле было не страшно вам одному в живых остаться у пушек и по немецким танкам палить?» А он, словно сошедши со страниц «Иллиады» Гомера, рассказывал мне, что во время сражения с немецкими танками чувствовал себя не одиночкой, а частью бессмертной славы своего великого народа.

Так что мне теперь остается сделать вот этот вывод: у советской цивилизации, как и у Древней Греции, наивысшими в иерархии человеческих ценностей были героические деяния, требующие от человека наивысшего напряжения его душевных и физических сил. Ну, например, в вышедшей довольно-таки крупными тиражами «Эстетике» Юрия Борева отмечается, что героические деяния у древних греков имели даже и эстетическое значение — как «проявление прекрасного и возвышенного в их единстве».

А разве советская фронтовая поэзия — это не то же самое?

То есть фронтовое поколение явило нам героев, равных Ахиллесу или Гектору, но — в духе времени явило не из достойных мужей, а из самых, что называется, безмянных масс. Вот же, сам Юрий Гагарин после войны из масс вышел, в космос слетал и из космоса в массы, его подвигом гордые, возвратился (так что вполне мог бы наш первый космонавт, вместивший в свой подвиг все научные и нравственные достижения нашей отечественной цивилизации, стать символом обозначенной мной эпохи, но — слишком кратким мигом была жизнь этого героя...).

Помимо Михаила Борисова, примучивал я своими допросами также и Михаила Лобанова — выдающегося советского мыслителя и тоже фронтовика. «А как вы, Михаил Петрович, можете считать советскую эпоху для себя родной, если вам постоянно давали понять, что в советские стандарты вы не вписываетесь?» И Михаил Петрович мне отвечал, что на него доносы писали и публиковали

только те, кто — от крупного партийного функционера Александра Яковлева до какого-нибудь мелкого писаки — при Горбачеве, Ельцине и Путине продолжили с ним бороться уже с антисоветских позиций. «Это люди, которые стаею жили в советское время, и такую же стаей на им неугодных набрасываются они теперь. Только тому нормально человеку, который хочет жизнь прожить личную и созидательную, приходится, как Гамлету, каждый день делать свой частный выбор».

И когда у автора романа «Драчуны» Михаила Алексева я спрашивал: «А после того как страшный голод 1930-х годов вам удалось пережить, думали ли вы, что обязательно напишете об этой трагедии?» — то Михаил Николаевич мне ответил: «Я понял, что «Драчуны» напишу, когда стало неинтересно вперед смотреть и все начали на пройденное оглядываться...»

Вот эти писатели фронтового поколения, «бездну перешедшие», казались моему, уже после войны родившемуся, поколению главными героями в событиях всей текущей жизни. Это на их военных песнях мы выросли. Их военную прозу читали мы в своей ранней юности как самую современную и самую высокую. И это они своими публикациями — сначала в никоновской «Молодой гвардии», а затем и в викуловском «Нашем современнике» — заставляли нас не без тревоги в течение жизни всматриваться.

Как мне сделать свой выбор на одном из них, если, пройдя сквозь все наиболее беспощадные прокатные станы своего времени, многие фронтовики не только не расплющились, но и, что называется, обрели закалку?

И разве только кто-то один из них в самые ответственные периоды нашей новейшей истории непонятно откуда, как бог из машины («Deus ex machina»), вдруг появлялся, и мы начинали понимать, как нам достойнее дальше жить?

По крайней мере, 29 июня 1988 года наш выдающийся писатель Юрий Бондарев, еще в партию власти входящий, как античный бог из машины на XIX Всесоюзной партийной конференции появил-

ся и сравнил горбачевскую перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка.

И в 1990-х, когда того же Юрия Бондарева, уже на медийных фабриках запрещенного, Ельцин решил какою-то наградой в честь его юбилея все-таки поманить, а он от этой награды отказался, нашей русской интеллигенции показалось, что в лице своего выдающегося писателя так же и она не простила Ельцину столь очевидную измену Родине.

И, например, в веке нынешнем, когда и сам Бондарев в свои преклонные года уже нигде на публике не показывался, едва Путин вернул российский Крым России и вся либеральная рать против Крыма взвыла, то именно 90-летний Бондарев свою подпись поставил первым под письмом творческой интеллигенции, возвращение Крыма поддержавшей. Так что, дабы к Бондареву и к таким же, как он, еще живым его соратникам лишнего внимания не привлекать, пришлось либералам самим быстренько организовать письмо такое же, но подписанное деятелями номенклатурными, готовыми подписать что угодно.

То есть, если бы я стал сочинять роман о поколении наших фронтовиков, спасших страну от фашистской Германии и от всей мировой закулисы, Гитлера финансировавшей и вооружавшей, то без постоянной оглядки на Юрия Васильевича Бондарева мне было бы не обойтись.

Но — что же за великаны сотворили великанью страну своими руками и головами!

Сегодня бытуют разные мнения насчет того, как Советскому Союзу удавалось до войны и в первую послевоенную пятилетку в одиночестве преодолевать расстояния, которые Европа проходила за столетия. Я же соглашусь лишь с тем, что наша страна, безусловно, жила в мобилизационном режиме. А если у СССР была возможность мобилизовать не только руки, не только головы, а и самоотверженные души, то, с моей точки зрения, в этом заслуга советской системы образования. Вот, например, что хоть и от противного, но вполне откровенно на сей счет сказал Андрей Фурсенко

— один из главных реформаторов нынешнего российского образования: «...Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца». И сам же он объясняет, почему сегодня Россия по уровню развития экономики уже уступает даже самым отсталым странам третьего мира: «...а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

А все дело в том, что человек-творец — это не результат разделения труда в мировой экономике, а результат эволюции всей нашей биосферы.

Да и возвращать квалифицированного потребителя, а не сберегать человека-творца — это тренд новейшего времени, когда презрение властного меньшинства к подчиненному меньшинству объясняется не тем, что меньшинство более образованно, а тем, что, наоборот, оно, меньшинство, образованным может считаться лишь формально, а уж к культуре имеет не большее отношение, чем какой-нибудь кот, обитающий в библиотеке или в картинной галерее.

И вот я пытаюсь представить Юрия Бондарева в образе подростка, который, как и греки времен Перикла, посещает свои форумы (пока еще комсомольские) и мечтает что-то для страны полезное свершить. И мне невозможно понять, как этот старшеклассник, у которого уши, наверно, были пока еще более заметными, чем его тонкая шея, в 1941 году вместе с тысячами таких же юных столичных комсомольцев отправился аж под Смоленск сооружать оборонительные укрепления.

Какою бы мобилизационною внутренняя политика страны ни была, но подростки — это всего лишь подростки, и если сами они не возжадут, то в срочном порядке и срочные работы их не мобилизуешь.

Лишь к лету 1942 года Юрий Бондарев оканчивает 10 классов средней школы и направляется на учебу во 2-е Бердичевское пехотное училище, которое вскоре было эвакуировано в город Актюбинск.

А уже в октябре этого года он вместе с други-

ми курсантами направляется сразу же в самый ад — под Сталинград и в качестве командира миныетного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. Был контужен, получил обморожение и легкое ранение в спину. После госпиталя воевал командиром орудия в составе 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. В боях за Житомир был ранен и снова попал в полевой госпиталь. За уничтожение в районе села Боромля Сумской области из боевых порядков пехоты трех огневых точек, автомашины, противотанковой пушки и 20 солдат и офицеров противника был награжден медалью «За отвагу». За подбитый танк и отражение атаки немецкой пехоты в районе города Каменец-Подольский награжден второй медалью «За отвагу». С января 1944 года воюет в рядах 121-й Краснознаменной Рыльско-Киевской стрелковой дивизии в Польше и на границе с Чехословакией. В 1944-м удостоивается приема в компартию. В октябре направляется в Чкаловское артиллерийское училище и после окончания учебы, в декабре 1945 года, его признают по ранениям ограниченно годным к службе и демобилизуют...

Всю эту военную эпопею, оказавшуюся за плечами у 21-летнего молодого человека, я всего лишь списал из Википедии. Потому что есть такие биографии, в которых в каком порядке ни поставь слова, их и не умалишь, и блеска дополнительного им не придашь.

Но вот, например, для Михаила Лобанова война состояла лишь из одного боя и госпиталя, но не отношусь же я к нему, как к человеку, с меньшим восхищением, чем к Бондареву.

Просто Бондареву довелось еще школьником, словно бы для исторической полноты, вдохнуть полной грудью довоенного великаньего энтузиазма на сооружении оборонительных укреплений, а потом, опять-таки в совсем уж юном возрасте, заменять собою в действующей армии командиров достаточно зрелых и опытных, как и должно быть в любой армии, но убитых в период поражений и отступлений.

Точно так же и в 1991 году, когда либералы решили Союз писателей России арестовать, Бондарев вдруг среди построивших баррикады защитников писательского дома оказался теперь уже самым старшим. После ночи, проведенной в рабочем кабинете (он тогда возглавлял наш Союз писателей России), он вполне бодро с нами обменивался шутками, и казалось, что наше противостояние с властью он воспринимает как всего лишь одно из самых легких, но, увы, обязательных приключений для писателя, не утратившего своего человеческого достоинства и любви к Отечеству.

И точно так же в 90-х, когда казалось, что вот еще и еще разок мы выйдем в нашей столице на демонстрацию и прокричим сотнями тысяч голосов «Банду Ельцина под суд!», то, как во всех цивилизованных странах, наше правительство, вызывающее у всех не только недоверие, а и чувство стыда, вынуждено будет уйти в отставку, — Юрия Васильевича Бондарева я видел среди демонстрантов самых молодых и энергичных, готовых щиты и дубинки у наступающих омовцев вырывать из рук.

Бог из машины не знает возрастных преград и усталости, он появляется всегда и везде тогда, когда появится должен по причине своих особых свойств.

При этом надо отдавать отчет в том, что Бондарев к 90-м — это человек, у которого, помимо многих высоких военных наград и почетного ордена Отечественной войны 1-й степени, — Звезда Героя Социалистического Труда, два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, Ленинская премия, Государственная премия РСФСР, две Государственные премии СССР и много других наград и премий. Кто-то иной под тяжестью таких заслуг бронзой бы покрылся и уже не знал, какая погода за окном, а он, когда был депутатом Совета Национальностей ВС СССР 11-го созыва, запросто использовал этот свой высокий статус для того, чтобы выразить протест против поворота северных рек...

То есть никто меня не переубедит в том, что вполне бытовую является отвага Солженицына, у которого за плечами стояло ЦРУ вместе

с Конгрессом США, или смелость Сахарова с Ростроповичем, каждый шаг которых охранялся «прогрессивной мировой общественностью». А вот нескрываемый патриотизм Бондарева в перестройку и после перестройки всего лишь обезоруживал, лишал заслуженного высокого социального статуса и отодвигал его, писателя с мировым именем, на обочину литературной жизни. Но для него было самым важным — не утратить своего человеческого достоинства (не обливают же его, как генерала Карбышева, ледяной водой!), не унижить звания русского писателя. И все это не перед телекамерами, все это без расчета на то, что страна увидит или услышит, все это лишь в кругу самых близких друзей и — теперь уже без надежды, что вышедшее из берегов течение жизни вернется в свое цивилизованное русло.

А творческая биография у Бондарева складывалась более чем благополучно. В 1949 году, за два года до защиты диплома в Литературном институте им. А. М. Горького, он дебютировал в печати. В 1953 году у него вышел первый сборник рассказов «На большой реке». Далее были книги «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957 г. и в 1985 г. 4-серийный фильм по мотивам повести), «Последние залпы» (1959 г. и одноименный фильм в 1961 г.), «Тишина» (1962 г. и одноименный фильм в 1964 г.), «Двое» (продолжение романа «Тишина»; 1964 г.), «Родственники» (1969), романы «Горячий снег» (1969 г. и одноименный фильм в 1972 г.), «Берег» (1975 г.; одноименный фильм, 1984 г.)...

Задолго до горбачевской перестройки он словно бы предчувствует развал СССР, размышляет о смысле жизни и о предательском с точки зрения фронтовика конформизме.

Далее в романах «Искушение» (1992 г.), «Непротивление» (1996 г.), «Бермудский треугольник» (1999 г.), «Без милосердия» (2004 г.) его герои, по мой, скажем так, субъективный взгляд, предстают людьми, к современной гуманитарной катастрофе, затронувшей не только нашу страну, а и западный мир, оказавшимися не готовыми.

Но мне в канун 95-летия писателя хочется за-

завить о том значении творчества Юрия Васильевича Бондарева, которое мне кажется наиболее важным.

Многие критики (Виктор Чалмаев и другие) после публикации первых значительных повестей Юрия Бондарева отмечали, что он делает «вызов официальной эстетике», сопротивляется «обезличению, стандартизации человека и фактически обескровливанию, слепоте искусства». Позже и Вячеслав Саватеев в своей статье «Батальоны, вызывающие огонь на себя» (это я у него в более обобщенном виде перенял заголовок для статьи собственной) обращает внимание на то, что «уже в первой повести «Юность командиров» фронтовик Дроздов после просмотра фильма говорит: «Все пригладили и прилизали /.../. Представляю, как лет через двадцать-тридцать люди будут смотреть эту картину и удивляться: неужели такая игрушечная была война? Сплошное «ура!» и раскрашенная картинка для детей. Стоило герою бросить гранату на высоту, как немцы разбежались с быстротой страусов. Разве так было? Немцы дрались до последнего, а мы все-таки брали высоты /.../. Война — это пот и кровь. А герой — это работяга. Этого бы только не забывать». И обращает внимание на то, как К. Симонов отмечал, что следующая повесть «Батальоны просят огня» «многому научила даже маститых писателей». И сам Юрий Бондарев считал, как рассказывает В. Саватеев, что его герои «родились «от живых людей», от тех, кого он встречал на войне, с кем «вместе шагал по дорогам сталинградских степей, Украины и Польши, толкал плечом орудия, вытаскивал их из осенней грязи, стрелял, стоял на прямой находке, спал, как говорят солдаты, на одном котелке, ел пропахшие гарью и немецким толом помидоры и делился последним табаком на закутку в конце танковой атаки»».

Но я бы придал этой бондаревской правде о людях, которых он на войне встречал, тот смысл, который критик Юрий Селезнев называл в военной прозе «семенами человечности».

То есть, читая фронтовую прозу Юрия Бондарева, можно предположить, что у его лейтенан-

тов среди рядовых имеется также и герой повести «Привычное дело» Василия Белова Иван Африканович — северный брат Григория Мелехова, тоже готового сквозь любые испытания пройти, все на своих плечах вынести, но вроде бы как в качестве живого человека у власти сострадания не вызывающий.

Если кто читал в исторических томах Вадима Кожинова главу «Загадка 37-го года», тот вспомнит, что был не только сталинский проект советского будущего, а и троцкистский, куда более суровый и о «семенах человечности» не помышляющий.

И вот, как это ни удивительно, но в «деревенской» прозе Василия Белова и в первых «военных» (приходится тему признать второстепенной относительно смысла и — тоже ее закавычить) повестях Юрия Бондарева почти в один и тот же период времени была предпринята вполне успешная попытка освободить своих героев из идейного плена, показать их такими, каковы они есть по своим нравственным и культурным природным свойствам.

То есть то, что принято называть «оттепелью», на самом деле оказалось реанимацией якобы побежденного Сталиным троцкистского казарменного социализма. И если относительно разрушения при Хрущеве большего количества храмов, чем было разрушено до него, все понятно, то, наверно, гораздо сложнее будет понять, почему хрущевскими бульдозерами, расправившимися с выставкой всего лишь неумелых и бездарных художников, было придано значение высокой живописи всему тому пролеткультовскому хамству, которое, как и «дырбулшил» в литературе, было после возвращения Сталина к Пушкину вроде бы уже навсегда «сброшено с корабля современности».

То есть Юрий Бондарев такой же почвенник, как и Василий Белов.

Опять же, теперь уже не всем может быть понятно, что общего между отвратительными для почвенников казарменным социализмом и левацкими литературой и искусством.

Проще всего сказать так: любым тоталитарным системам власти противостоит только то, что

подобно «Ваньке» Чехова и «Станционному смотрителю» Пушкина. Или — «Привычному делу» Белова. Или то, что подобно повести «Батальоны просят огня» Бондарева, где герои готовы даже и умереть, но при этом всего лишь хотят надеяться, что гибель их будет не напрасной жертвой чьему-то самодурству. И это не потому, что очень уж они идейные, а потому, что человек по природе своей не индивидуалист и эгоист, а существо социальное, общественное, общее благо предпочитающее благу личному. А если кому-то кажется, что слишком высокопарно я рассуждаю, то сошлюсь на блистательного Козьму Пруткову, который человека, предпочитающего личное благо общественному, сравнивал с кормилицей, «сосущей собственную грудь».

Разумеется, будущие либералы, а в далекие советские времена все сплошь партийные ортодоксы, упрекали Бондарева в «идейной неправде». Им хотелось, чтобы почвенник (да, все-таки почвенник!) Бондарев показал не цивилизационную, а идейную природу героизма советских солдат. В этом проявлялся их, в лучшем случае, вирусный, а не пятиколонный троцкизм. В этом проявлялась и их ненависть к Сталину, вдруг понявшему, что к советским людям надо обратиться в самый ответственный час не как к оттиснутым в идеологических штампах болванкам, а как к своим человеческим, к своим родным братьям и сестрам.

Всем, кто попытается в творчество Бондарева погрузиться, предстоит открыть, что он не является сталинистом, что если бы не предали Горбачев и Ельцин страну, спасенную поколением Бондарева от фашизма, то победил бы почвеннический антисталинизм Бондарева, заключающийся всего лишь в том, чтобы в постмобилизационный период не человека подгонять к размеру рабочего костюма, а рабочий костюм шить для человека такого, каков он есть как социальный тип (общинник) и как творец, произошедший из приматов в результате эволюционного сбоя.

Опять же, читателям более молодым, чем я, может показаться, что почвенники — это наше рус-

ское национальное явление. На самом же деле, такими же, как Бондарев или Белов, почвенниками являлись все последние лидеры национальных государств: де Голль во Франции, Улоф Пальме в Швеции, Альдо Моро в Италии...

Если в противостояниях между людьми различать не политические и не национальные противостояния, а — по советскому ученому Борису Поршневу — противостояния межвидовые в самом что ни на есть прямом значении этого слова, то и отказ Европы от своей христианской ментальности, и попытка современной России быстренько найти любую суррогатную замену таким, как Бондарев или Белов, русским писателям будут восприниматься не как развитие, а как насилие. ■